

Александр Грин

# Огонь и вода



Александр Грин

**Огонь и вода**

«Public Domain»

1916

**Грин А. С.**

Огонь и вода / А. С. Грин — «Public Domain», 1916

О необычайной силе человека, способного, если надо, пройти по воде.

© FantLab.ru

© Грин А. С., 1916  
© Public Domain, 1916

# Содержание

|     |   |
|-----|---|
| I   | 5 |
| II  | 7 |
| III | 9 |

# Александр Степанович Грин

## Огонь и вода

### I

Леон Штрих, в надежде, что его история с оппозицией диктатору области кончится благополучно, – поселился у самой границы, однако вне пределов досягаемости. Теперь он находился всего лишь в тридцати верстах от города и дома, где проживала его семья. Значительные и властные лица хлопотали о разрешении Штриху вернуться на родину. Это тугое и обременительное для многих дело шаг за шагом подвигалось, как можно было уже надеяться, к благополучному концу. Штрих, бесконечно влюбленный в семью, скрашивал свое нетерпеливое тягостное уединение тем, что в ясные дни, когда даль сбрасывала туманы окрестных болот, взбирался на холмы Железного Клина и подолгу смотрел через бухту на рой туманных блесков далекого Зурбагана. Мысленно определив место, где стоял дом, Штрих вскрывал воображением все его этажи и, мысленно же побыв с детьми и женой, согревшись их обществом, возвращался к своему убежищу, маленькому деревянному домику рыбака, стоявшему на краю деревни, в конце Железного Клина, неподалеку от линии моря.

Он жил здесь около года, утешаясь предельной близостью к городу. Жена и дети часто писали ему. Он вскрывал письма, опустив оконные занавески, чтобы не рассеиваться ничем, и читал их по нескольку раз, до утомления, стараясь определить мысли, пронесившиеся в уме писавшего, меж фразами и знаками препинания. Иногда он рассматривал отдельные буквы, ломая голову при поспешном или старательном начертании их; также над запятыми, точками, особенно в письмах жены. «Не знала, что писать дальше, ей скучно», – воображал он иногда, и его сердце при виде отчетливо вкрапленной где-нибудь в середине письма точки – сжималось. Зато он ликовал, получая мелко исписанные страницы с приписками на полях и поперек текста. Его жене было двадцать четыре года, мальчику – восемь и пять – девочке. Он жил только семьей; жалел, что приходится спать, отнимая время у дум о близких; часто в минуты глубокой рассеянности он почти видел их перед собой, говоря в полузабытьи с ними как с присутствующими. Временами он принимался бранить себя за то, что ввязался в политику, – с яростью, превышающей, вероятно, ярость его противника.

Он ничего не делал и жил, слоняясь целыми днями по береговым скалам, на солнечном ветре, избегая людей, чувствуя большую ревность к самому себе при встрече с ними, так как невольно вникал в чужие интересы, страдания, надежды, обманы. Рыбаки начали дичиться его. Он неохотно отвечал на вопросы, улыбался, когда жаловались на что-либо; морщился, когда с ним делились радостью; часто говорил невпопад, резко прощался.

Кузнец, хозяин дома, где он жил, человек несловоохотливый, но любивший выпить и покурить вдвоем, был единственный человек, которого терпел Штрих. Кузнец являлся по вечерам. Штрих ставил на стол бутылку, папиросы и принимался рассказывать о своих. У него мальчик и девочка. Его мучает иногда то, что которого-то из них он, кажется, любит больше, но не может уяснить, кого именно. Мальчика зовут, как и его, Леон, но прозвище у него «Брандахлыстик». Он начал читать четырех лет. Он делает очень хорошо маленькие лодки и обожает музыку. Девочку, которую зовут, как мать, – Зелла, прозвали «Муму». Она складывала, когда была очень маленькой, губки в трубку, и выходило у нее поэтому не «мама», а «муму». Оба черноволосы, оба очень добры. Оба страшные шалуны. Оба прекрасны. Жалко, что кузнец их не видел. Муму ездит на волкодаве верхом и всегда хохочет. Однажды она засунула палец в пустой пузырек от лекарства и не могла вытащить (ей было тогда три года), но она догадалась его разбить и притом не обрезалась.

Кузнец добродушно слушал, кивая головой и помаргивая огромными бровями. Веки его слипались. Постоянно, не торопясь, выпивал он вино, вытирал рот кистью руки, благодарил за угощение и уходил, дымя папиросой, весь в пепле. Оставшись один, Штрих, возбужденный разговором, долго ходил по комнате. В стенном зеркале мелькало, как бы пролетая, его иссохшее от тоски лицо с блестящими напряженными глазами. Синий туман, наконец, ослаблял его и вгонял в постель.

Каждый день, утром, с головой, полной одних и тех же мыслей, в нервном и тоскливом ожидании писал он длинные письма жене, бесконечно уснащая их ласковыми словами, интимными обращениями и теми маленькими вольностями, какие у цельных натур выказывают не испорченность, а острое всепроникающее обожание. В конце письма следовали длинные обращения к детям. Он писал о своих настроениях, мечтах, планах, надеждах, описывал окрестности, прогулки, раковины, деревья, закаты солнца, морские шквалы, подробно исчислял однообразное течение дня, давал советы, спрашивал о положении своего дела; просил читать те или другие книги. Затем он совершал упомянутую прогулку к холмам с видом на Зурбаган.

Тем временем друзья стали извещать его – все в более и более определенных выражениях – о том, что вокруг его дела создалась благоприятная атмосфера. Оставалось посетить двух-трех лиц, завершить некоторые формальности (просить в одном месте, дать взятку в другом). Штрих чувствовал приближение свободы. Он спал меньше, дольше оставался на холмах, иногда заговаривал сам с туземцами, угощая их табаком. Огромная тяжесть, давившая его, покачнулась, и под дальним краем ее блеснул свет.

## II

В четвертом часу ночи на воскресенье Штрих внезапно проснулся, мгновенно взвинченный необъяснимой тревогой. Она была так сильна, что руки Штриха плясали, долго не попадая спичкой в фитиль свечи. Штрих кое-как надел брюки, жилет. По лужам (днем прошел сильный ливень) торопливо ударяли копыта верховой лошади. Шум приближался; подковы звякнули перед окном о камни, и на мгновение стало тихо. Штрих ждал.

За дверью раздались голоса; один был голосом кузнеца, снимавшего дверные засовы, другой голос, тоже мужской, показался Штриху знакомым. Три громких удара в дверь слились с его криком:

– Да, да, я здесь; идите, в чем дело?!

Вошел, задыхаясь, Морт, – учитель, друг Штриха. Они не виделись больше года. Морт был в грязи, бледен, странен в движениях; нестерпимо-тоскливое выражение его лица душило Штриха. Морт остановился у двери, смотря на друга взглядом, полным таинственного значения. Штрих подступил к нему, не здороваясь, сжав кулаки, видя, что визит грозен, как разрушение.

– Я взял отпуск, лошадь и помчался к тебе. – говорил Морт, торопясь высказать все, пока руки Штриха не вцепились в его горло. – Ты чувствуешь? Ты угадал? Я просил, молил о разрешении тебе ехать немедленно в Зурбаган, но скоты уперлись лбом... Телеграмма убила бы тебя. Признаюсь, я хотел начать издалека, но когда увидел, что ужас уже с тобой – говорю сразу. Слушай, возьми в зубы одеяло и крепче закуси или же сразу оглушись водкой как можно больше. Дом сторел, Штрих; пожар начался в нижнем этаже, дерево занялось сразу, дети... Понял? Твоя жена в больнице; сутки, может быть, но не более...

Когда он договаривал, Штрих уже рвал изо всех сил дверь, удерживаемую тоже с бешеным упорством Мортом; тот кричал нечто, чего Штрих не понимал и не хотел знать. Он плакал навзрыд, цеплялся за его руки, с смутной надеждой найти слова повелительной и разумной силы. Но таких слов не могло быть. Штрих ударами кулака отбил МОРТУ руки, державшие крайину двери, и выбежал в тьму.

Он был босой, без шапки, как застал его Морт. Дождливый мрак грудью навалился на землю, временами колыхая в лицо душным сырым ветром. Свернув за угол дома, Штрих с точностью лунатика устремился по прямой линии к развалинам зурбаганского дома, как голубь, брошенный с аэростата, сквозь блеклый туман бездны, падая стремглав, берет сразу нужное направление. Штрих пересекал полуостров. Полного сознания окружающего у него не было. Весьма неровная местность, покрытая перелесками, оврагами, скалистыми рубцами почвенных гранитных прослоек, местами смытая водой, местами песчаная, – одолевалась им как бы во сне. Он спотыкался, падал, вставал, снова бросался вперед, не помня и не ощущая ничего. Общее смутное впечатление пробега, когда оно являлось мгновениями, напоминало бешеную пляску в наглухо закрытой карете. Потрясение, сильнейшее, чем можем мы представить себе, держало его на границе мгновенной смерти. Ни боли окровавленных ног, ни тяжести, ни дыхания не чувствовал, пока бежал, Штрих, увлекаемый нервным вихрем в неизменно безошибочном направлении. Он знал только, что неизвестно как, через некоторый чудовищный промежуток времени – очутится там, где надо, где – поздно и где что-то можно поправить.

Тьма была полная; однако блеск образов, сопутствующих ему, неотступно плывущих вокруг, в близком расстоянии от лица, превращал мрак, световым напряжением мозга, в подобие сумеречных провалов, где, дымясь фосфорически, сплотились облака уродливых контуров. Дым окружал Штриха. Он слышал его угарный запах, видел колебание волнистых серых завес, пронизанных багровым отсветом, и тихо передвигающихся, красных струек огня. Часть оконного переплета мелькала вдали. Временами Штрих громко произносил:

– И вот они задыхались!..

Оба, мальчик и девочка, непрерывно перемещались в сгущении дыма; они то бежали по направлению к нему, протирая кулачками глаза, то удалялись в таинственные углы мрака, откуда слышался их затихающий крик; то, лежа на полу в конвульсивной дрожи, тыкались головами, как слепые щенки, в извивы бурно мятущегося везде дыма. Или лицо жены, закинутое назад, как у обморочной, с пылающими волосами, пронеслось так близко от него, что он протягивал руки, вскрикивая, как подстреленный.

– Так вот, – повторял он вслух, стараясь осознать произносимое, – они задыхались. Но не сразу же задохлись. Я бы не перенес этого.

Моментами яркое представление об ужасе, испытанном теми, почти пронизывало его, тогда ему хотелось вдохнуть весь воздух, всю атмосферу земли, чтобы разразиться, наконец, безобразным, неслышанным воплем. Но вместо этого он только тихо мычал, покусывая губы, и скорость его движения возрастала.

Тем временем занялся рассвет; мрак, утратив могущество, слабо и постепенно редел. Дождь оборвался. Штрих сквозь негустой туман, расстилавшийся на высоте его груди, видел за тонкой, как травинка, вершиной далекого дерева – бледный край солнца, теснившего призраки, и под ногами равнину странного вида. Ее цвет, один и тот же повсюду, – в кругу одолеваемого зрением тумана, – был тускло-зеленый, прозрачности мутного стекла, и переливчат. Мягкий удар ветра за клубил туман впереди Штриха, погнав к солнцу, и в образовавшемся воздушном пространстве Штрих заметил изменение зеленоватого цвета почвы – в голубоватый и синий, – чем далее, тем синее. Начав видеть, он овладел тон частью сознания, которая оценивает и следит окружающее.

Зелень, вздрагивая, колебалась под ним, по ней пробегала рябь; складки и борозды, ритмически следуя друг за другом, напоминали волнение воды.

– Это землетрясение, – сказал Штрих, страстно надеясь, что земля разверзнется и избавит его от страданий. С легкостью, которая бывает только во сне, скользил он неудержимо и быстро, подобно струе тумана, к недалекому берегу. Вдруг нагнетание теплого ветра, длительное и ровное, истребило туман, и залив, во всей юной красоте тихого утра, заблестал перед его воспаленными глазами. Под ногами Штриха покачивалась вода. Он не изумился и не испугался.

– Теперь я вижу, что сплю, – сказал он, но уверенность в этом не простиралась на происшедшее в Зурбагане. Каждое было само по себе, и он не думал о странности совмещения действительности с тем, что считал сновидением.

Яркая лучезарность неба после тьмы ночных часов опять воскресила воображению огонь в дикой его беспощадности. Штрих посмотрел в сторону. Там, шагах в ста от него, огромный и бодрый, шел на всех парусах барк; купеческая солидность его тяжело нагруженного корпуса венчалась белизной парусов; их тонкие воздушные очертания поднимались от палубы к стенам стаями белых птиц. Звонкие голоса матросов достигли ушей Штриха. Он послал им проклятие, стиснув руками грудь. Ему было невыносимо наблюдать это воплощение бодрой и целесообразной работы, радостное движение барка к далекой цели, когда он сам, Штрих, потерял все. Не помня как, увидел он затем вокруг себя – лес, бабочек и цветы; трава дымилась в косых лучах солнца, и неясная фигура бледного человека выросла перед ним. То был таможенный солдат; он не закричал, не выстрелил и не остановил бегущего – он видел Штриха, и этого оказалось довольно для того, чтобы окаменеть в испуге.

За перелеском открылась широкая с шоссеиной дорогой равнина, и на крутом обрыве реки – амфитеатр Зурбагана.

Штрих бросился по дороге...



### III

В восемь часов утра в палату городской больницы ввели вырывающегося из рук служителей человека, – грязного, окровавленного и полунагого. Он подошел к кровати, шатаясь от изнурения. На кровати лежала плотно укрытая, с сплошь обвязанной головой, женщина; из марлевых повязок видны были только опухшие глаза без ресниц; последние искры жизни, угасая, блестели в них; она тихо стонала.

Штрих молча смотрел на нее веселым диким взглядом.

– Зелла! – сказал он.

Чуть заметное движение света опухших глаз ответило ему – сознанием ли происходящего или вспышкой предсмертного бреда? – никто не мог сказать с точностью.

– Раньше я умел просыпаться вовремя, если видел тяжелый сон, – заговорил Штрих, обращаясь к взволнованному доктору. – Сны бывают очень отчетливы, заметьте это. Конечно, это не моя жена. Потом, здесь были бы дети. Ну, теперь я спокоен; я думаю, что скоро проснусь.

Но он проснулся только через полтора года в лечебнице для таких же, как и он, неуверенных в реальности происходящего людей. Смерть наступила от паралича сердца.

Морт впоследствии утверждал, что Штрих, в силу извилистости полуострова, образующего формой серп, свободным концом обращенный к материку, не мог от четырех до восьми часов утра явиться в город пешком. Дороги здесь настолько плохи, прихотливы и неустроены, что он сам, торопясь к Штриху, одолел расстояние – и то верхом – в пять с половиной часов. Но доктор (и другие) настаивали именно на восьми часах утра. Однако, как утверждают многие, часовщики в Зурбагане не пользуются дурной славой. По нашему мнению, в каждом споре истина – все-таки не в руках спорщиков, иначе бы они не горячились.